

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЮРМАЛА

– Ни в коем случае! Ни в коем! Ну что вы такое говорите, Олег Николаевич, разве можно «Правда» и только «Правда»? Вы сравните, какая там бумага!

– Не скажите, Лев Аркадьевич. Я предпочитаю «Известия». Все-таки фактура, и демократичнее как-то, и доступнее. Это для народа, для читательских масс. А «Правду» специально покупать надо.

– Да, но бумага того стоит. И краска. Вы сравните, совсем другая типографская краска.

Я просыпался. Медленно, безмятежно и тягуче, как бывает в молодости. Над ухом вибрировал, рычал и вздрагивал железный холодильник «Саратов». Эти рулады производства «Саратовского авиастроительного завода» убаюкивали лучше всякой колыбельной. Дача! Я на даче! Значит, лето.

Дачу и лето любят все. Много лет спустя погожим январским днем наша дочь Юля попросила:

– Мама, давай поедem на дачу!

– Ну, что ты, – ответила моя жена Таня, – на дачу ездят летом.

– На даче всегда лето... – глубокомысленно заключил ребенок.

Но это все будет потом, а пока я просыпался. Сиреневый солнечный зайчик уткнулся прямо в одеяло. Наверное, часов девять уже, не меньше, солнце встало над деревьями. Разлепив глаза, я проследил, как уютно кружатся пылинки в луче света. Застекленная юрмальская веранда оживала с ночи. Красота!

На диване сидели и спорили, не обращая на меня никакого внимания, двое. Это были Олег Николаевич Головин, профессор мехмата МГУ, и Лев Аркадьевич Калужнин, заведующий кафедрой алгебры Киевского университета. И тот, и другой постоянно приезжали к нам на дачу, Калужнин чаще, Головин реже, но в общем оба были частью юрмальского лета. Я всегда с нетерпением ждал их появления.

Постепенно предмет разбудившего меня разговора стал доходить до сознания. Два интеллигента всерьез рассуждали о том, какая из газет лучше подходит для нашего сортира. О существовании туалетной бумаги никто в то время и не подозревал, поэтому тема была актуальной и злободневной. Кроме того, они явно расслабились на отдыхе. Калужнину нравились «Известия», Головину – «Правда».

– Ну, вы же знаете, – говорил Головин, – «Правда» ближе к ЦК, там лучшая бумага.

Калужнин завелся и сказал, что это печатное издание он из принципиальной гражданской позиции не хочет видеть даже в туалете.

– Чем отличается «Правда» от «Известий»? – горячился Калужнин. – Тем, что в «Правде» нет правды, а в «Известиях» нет известий! Вы что предпочитаете?

– Читать я предпочитаю «Комсомолку», а так... Вы все-таки не правы, Лев Аркадьевич, – отвечал Головин.

Я кайфовал. Математический народ слетался в Юрмалу. Начинался сезон купаний, семинаров, шашлыков, поездок. Математики приезжали со всего Союза, мои родители селили их в многочисленных «вороньих слободках» вокруг дачи, и летняя, ортогональная будничной, жизнь вступала в свои права.

Олег Николаевич Головин всегда привозил с собой особый московский интеллектуальный шарм. Я балдел от рассказов о Пастернаке, Нейгаузе, Ахматовой, Цветаевой. Всех он знал лично, а если не лично, так знал их близкий круг, детали жизни, быта, выступлений, взаимоотношений, особенности изданий. Было в этих рассказах что-то абсолютно пленительное. Однажды он спросил меня:

– Женя, вы, конечно, читали Марию Петровых?

Я не читал Петровых и не знал тогда о ее существовании. Взгляд Олега Николаевича стал укоризненным.

– Как же так! Это великий поэт! Вы обязательно должны прочесть ее стихи!

– А они опубликованы?

– Есть один сборник, я подумаю, – сказал Головин.

Он запомнил и привез мне в подарок подборку Марии Петровых в следующий свой приезд. Стихи были завораживающими. Она сравнительно недавно написала:

*Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости –
Поначалу от робости,
А позднее от старости.*

*Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все-таки, кто же ты?
Отзовись из неизвестности!..*

*О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Что же будет оставлено
В ту минуту последнюю?*

*Лишь начало мелодии,
Лишь мотив обещания,
Лишь мученье бесплодия,
Лишь позор обнищания.*

*Лишь тростник заколышется
Тем напевом, чуть начатым...
Пусть кому-то послышится
Как поет он, как плачет он.*

1967

Головин был хорошо с ней знаком. Мне тогда это казалось невероятным. Ну как же так получается, оказывается, все недоступное было совсем близко.

Юрмала ему очень нравилась. Однажды мама пригласила Головина к столу. Сидели, ели копченую салаку, закрутился разговор.

– Олег Николаевич, а вы бывали на Западе? – спросила мама.

Головин ответил с совершенно серьезным лицом:

– Нет, никогда, сейчас впервые...

Профессор Лев Аркадьевич Калужнин, напротив, был легендарным персонажем, знавшим Запад намного лучше Востока. Он родился до революции в смешанной семье: папа еврей, мама дворянка. Учился в Берлине у Иссаи Шура, а затем в Гамбурге у Гекке, Артина, Цассенхауза. Что ни имя, то учебник. Потом был Париж, Сорбонна... Во время войны попал в Германии в концлагерь. Говорят, там он придумал свое самое знаменитое математическое изобретение – конструкцию сплетения групп. Их все время заставляли сплестать какие-то жгуты, провода, веревки. Вот и наваяло... В год моего рождения Калужнин вернулся с мамой-дворянкой в Россию. Почему-то мне кажется, что ему было все время некомфортно в новообретенном отечестве. Хотя научную школу в Киеве он создал первоклассную.

Обычно Калужнин возникал на ступеньках дачи каким-нибудь ранним утром. С небольшой поклажей, иногда с детьми. Видимо, поезд из Киева приходил рано, и ему просто некуда было деться. Мама открывала утром дверь на улицу и видела грустного Льва Аркадьевича. Калужнин веселел и говорил: «Дети, идите кушать». Однажды в конце июня я вышел на крыльцо раньше родителей и застал там Льва Аркадьевича с ведром спелых абрикосов. Это было грандиозно!

Калужнин любил пиво, красное вино и, конечно, математику. Пиво в Латвии было отменным, лучшим в Союзе. В обиходе были светлые «Сенчу», «Алдарис», но появлялось уже и темное «Илгуциемское». Пиво я терпеть не мог, предпочитал квас, лимонад «Саяны» или жизнеутверждающий солодовый напиток «Веселиба». Но Калужнин пиво любил, и постепенно его юрмальское бытие начинало играть новыми красками.

Мне было лет пятнадцать-шестнадцать, когда Лев Аркадьевич подкатил ко мне на даче с неожиданной просьбой:

– Женя, не могли бы вы сбегать в магазин и купить мне бутылочку «Каберне»?

– Я могу, конечно, но зачем вам «Каберне», Лев Аркадьевич? Его пьют только «Агдамы Далляровичи».

– Кто пьет, – не понял Калужнин, – кто пьет «Каберне»?

– Агдамы Далляровичи. Это те, кто берут бутылку за рубль с небольшим, выливают в тарелку, крошат туда хлеб, слегка подогревают и едят это пойло ложкой. Давайте я куплю Вам приличное грузинское вино – ну, «Цинандали» там бывает, может «Напареули».

– Вы ничего не понимаете, Женя, – сказал Калужнин. – «Каберне» – лучшее вино. Вся Франция пьет за обедом «Каберне». Это такой знаменитый сорт винограда. В Бургундии пьют, в

Аквитании, в Нормандии, всюду! Я к нему привык. Понимаете, я на отдыхе. Лучше делать то, к чему привык. Сколько стоит в Латвии «Каберне»?

И, не дожидаясь ответа, протянул мне трешку.

– Должно хватить, – сказал Лев Аркадьевич, – сбегайте, пожалуйста.

Так произошло мое знакомство с французской культурой виноделия. Сколько всяких «Каберне» выпито с тех пор по всему миру! Но не было случая, чтобы я не вспоминал Льва Аркадьевича.

Как-то раз он сказал мне:

– Женя, ну посмотрите, как одеваются эти женщины. Просто невозможно, фабричная психология встроена им в голову. Здесь если женщина выходит на улицу и мужчины на нее озираются – значит, с ней что-то не в порядке. А в Париже наоборот, женщина чувствует, что с ней что-то не так, если мужчины не провожают ее взглядом.

Мы много ездили по Латвии. Калужнин из автобуса выходить не очень любил, смотрел на все через окно. Мы были в одном из небольших городков, по-моему, в Цесисе или в Кулдиге. Я повел группу математиков осматривать местную церковь. Возвращаемся. Калужнин спрашивает:

– Ну и как Вам, Женя, кирха, понравилась?

Я сначала не понял и ответил:

– Это церковь, Лев Аркадьевич, старая латышская церковь XIX века.

Калужнин посмотрел на меня с сожалением.

– Это кирха, Женя, типичная немецкая кирха, я в точно такую же ходил еще в молодости. Я любил слушать органную музыку.

Он и в самом деле хорошо знал классическую музыку, мы всей математической гурьбой раз или два в сезон ходили в концертный зал в Дзинтари. Это было божественное место. Зал был на открытом воздухе, оркестр играл классику, и в такт музыке качались над головой высокие стройные сосны. А если был ветер с моря, то издали доносился глухой рефрен прибоа.

В мою обязанность входило следить за летними концертами в Домском соборе. Я сообщал расписание всем гостям, и мы организовывали выезды в Старую Ригу, в Домский. Собор и особенно площадь перед ним я знал как свои пять пальцев. Ведь какой органний концерт без рижских кафе! «Синяя Птица», «Тринадцать стульев», «Сигулда», «Пут Вейини» окружали собор плотным и очень вкусным кольцом. И – да, это был Запад!

Обычно в Ригу летом приезжала органистка Евгения Лисицына. Сколько токкат и фуг Баха пришлось прослушать – не перечить. Но в общем музыка была неплохая, и атмосфера особая. Под хоралы Иоганна Себастьяна можно было дать мыслям унести куда-то вдаль, а иногда и просто вздремнуть. Но Головин и Калужнин были настоящими меломанами, без дураков.

Некоторые известные работы Калужнина были написаны в Париже вместе с Марком Краснером. Они дружили. Краснер родился в Одессе в еврейской семье, ребенком переехал во Францию, учился ни больше ни меньше как у самого Адамара. В шестьдесят шестом году в Москве был Международный математический конгресс. Краснер выступал на секции, которую вел мой папа. Выйдя к доске, Краснер обернулся к залу и на великолепном, чистом русском сказал несколько слов благодарности. Затем чуть помедлил и добавил:

– Но поскольку я представляю Францию, свой доклад я прочту на французском.

Всю жизнь он прожил в Париже, был очень уважаемым французским ученым. Однажды Краснер приехал в Ригу, но до Юрмалы, кажется, не добрался. На меня его визит произвел большое впечатление. Живой иностранец! Француз! Парижанин! Это был конец шестидесятых. Какие французы в Риге?

Приезда Краснера я ждал с нетерпением. И вот дверь открылась, и в квартиру втиснулся большой, толстый, грушеобразный человек с очень располагающим выражением лица.

– Здравствуйте, очень приятно вас видеть, – сказал француз. – Меня зовут Марк, я Марк Краснер.

Весь его могучий живот был оплетен ремнями, на которых висело штук пять разных фотоаппаратов.

– Простите, где у вас можно расположиться? – спросил Краснер.

Его русский звучал слегка архаично, но очень привлекательно. Создавалось впечатление, будто он только что вышел из книжного магазина господина Струве. Краснера сопровождал папин аджарский аспирант, мой любимый Аслан Хахутаишвили, для меня – дядя Аслан. Ростом он был в половину от Краснера, но размером живота вполне мог поспорить с гостем. По-русски Аслан почти не говорил. Несмотря на это, мысль его всегда была очень доходчивой и слегка лукавой. Вообще, Аслан лицом и телосложением напоминал Карлсона, у которого стибрили пропеллер. Только вместо плюшек он любил сациви, чахохбили и домашнее вино.

За столом Краснер сказал, что Латвия ему очень нравится и он приехал бы на лето отдохнуть в Юрмалу, о которой ему много рассказывал Калужнин. Проблема в том, что дома, в Париже, у него двенадцать кошек, и они будут очень скучать. А он любит ездить и фотографировать. И эта его страсть конфликтует с интересами кошек. Короче, он не знает, что с этим делать. А еще летом проходит чемпионат Франции по шахматам, в котором он всегда участвует.

– Почему? – спросила моя мама, занятая, очевидно, мыслями о сладком.

– Я французский мастер, – ответил Краснер, – и всегда играю только французский гамбит.

И добавил, что выбирает определенный вариант этого самого гамбита.

– Так он же ошибочный! – Аслан неожиданно заговорил без акцента. – Белые обычно проигрывают.

В комнате повисла тишина. Краснер напрягся, от его слегка отстраненной благосклонности не осталось и следа.

– Ничего подобного! Я играю его уже тридцать лет! Там все верно!

Он возбудился и стал похож на мастодонта, у которого пытаются утащить пирожное.

– Откуда вы это взяли? – обратился он к Аслану.

– Это общеизвестно, – сказал Аслан, и я вдруг понял, что и Карлсону можно наступить на любимую мозоль.

– У вас в доме есть шахматы? – спросил Краснер таким тоном, после которого, видимо, у французов следует дуэль.

Шахматы у нас были, еще как были. По семейной легенде моя бабушка Циля была в тридцатых чемпионкой Белоруссии. До сих пор не знаю, правда это или нет. В любом случае, я когда-то занимался шахматами в кружке Александра Кобленца, тренера Михаила Таля. Я принес доску и поставил ее на наш двухцветный красно-черный столик, нетленную иллюстрацию к «Красному и черному» Стендаля. Что-то в этом было символичное.

Партия началась, они разыграли французский гамбит. У Аслана был добротный советский первый разряд. Краснер же, во-первых, французский мастер, а во-вторых – иностранный гость. Что со всем этим делать, было неясно.

Минут через пятнадцать Краснер глубоко задумался и стал бормотать себе под нос на французском. Аслан же с видимым удовольствием поглаживал свой второй подбородок. По-французски он не говорил, а каждый ход сопровождал чем-то грузинским, вроде «ввах». Папа отозвал меня на кухню.

– Что там происходит? – спросил он.

– Аслан давит, у него явно лучше.

– Плохо, – сказал папа, – нехорошо.

И пошел советоваться с мамой. Я вернулся в комнату. Аслан играл легко, краснеровский вариант французского гамбита и в самом деле был ошибочным.

Подошел папа и зашептал Аслану на ухо. Аслан кивнул головой и стал играть хуже. При этом лицо у него оставалось необыкновенно довольным. Чему он радуется, подумал я, ведь упустит преимущество. Краснер ожил и попросил пить. Позиция постепенно выровнялась и перешла в эндшпиль, в котором никому из игроков ловить было нечего.

– Ничья, – сказал папа.

Краснер и Аслан пожали друг другу руки. Все было замечательно. И тут Краснер сказал:

– Я же говорил, гамбит правильный. При некотором усилении на e5 он дает решающую атаку.

Аслан возражать не стал, а просто повторил:

– Это ошибочный вариант.

Самая умная из всех, мама, тут же принесла сладкое. Это был торт «Циелавиня» – «Трясогузка» в переводе с латышского – килограмм миндальных орехов, бeze, цукатов, коржей в настоящем, полновесном креме. Поесть Краснер любил, да и все любили. Шахматные страсти улеглись, за чаем говорили в основном о математике, леммы-теоремы всегда были интернациональной темой разговоров.

Когда Марк Краснер уехал, я спросил отца:

– Что ты сказал Аслану?

– Как что? – удивился он. – Я сказал: Аслан, делайте ничью!

Да, до Юрмалы Краснер так и не добрался. Был разговор о его приезде летом, о том, как хороша Старая Рига и как можно организовать неделю на взморье. Но ничего не состоялось. Все-таки Париж в то время был похож на обратную сторону Луны.

Наша дача находилась в Лиелупе, возле реки, улица Стирну, одиннадцать. Вся Юрмала состоит из череды поселков, которые было принято называть станциями. Первая из них, самая близкая к Риге, называлась, да и сейчас называется, Лиелупе. На мой взгляд, лучшего места нет ни в Юрмале, ни в Латвии, да и во всей Вселенной. Слово «лиелупе» в переводе с латышского означает «большая река», поскольку «упе» означает реку, ну а «лиела» – соответственно, «большая». Река в самом деле была громадной, полноводной и полной соблазнов.

Дача стояла на самом берегу, метрах в двадцати от воды. Перед ней был небольшой песчаный пляжик, окаймленный со всех сторон деревянными мостками, уходящими в реку. Мостки прорезали линию кувшинок, водорослей, иногда белых лилий, и обрывались в том месте, где начиналась глубина и дно реки резко уходило куда-то вниз. С мостков ловили рыбу, купались, смотрели на далекие сосны на противоположном берегу. Основной рыбной добычей были уклейки, плотвички, подлещики, окуньки. Однажды я поймал сотню уклек, и бабушка пожарила всю эту мелюзгу. До сих пор помню чувство безграничного счастья по этому поводу. В другой раз на дальних мостках клюнула щучка. Я бежал и кричал: «Бабу-уу-шка, я пойма-аал». Что поймал – было неважно, слишком много адреналина всегда препятствует разумной речи. Крик этот до сих пор плывет в воздухе далеко в астра-лах, я слышу его совершенно отчетливо. Иногда же детвора договаривалась со старшими, и мы тянули бредень вдоль всех водорослей. О, это был настоящий вызов. Идти было трудно, но кроме всякой сорной мелочи попадались даже лини и подлещики, а однажды мы вытащили некрупного угря. То-то было страху, когда он сиганул из водорослей по бредню к нашим оголенным телам.

Жизнь на реке начиналась ранним утром. Мимо окон сновали казанки, шелестели веслами академические четверки и восьмерки, проплывали потные каноисты, с воем проносились скутера. Довольно редко, но степенно шли по фарватеру к морю большие яхты. И, наконец, раза четыре в день чапал в Ригу речной трамвай. Он проходил особым путем вдоль далекой отмели под названием «Островок». Потом он шел мимо большой прибрежной дюны «Белая гора», а затем, не доходя до устья, сворачивал в канал, к военной базе Болдераи, и

оттуда уже выходил в Даугаву. Сейчас Островка нет и в помине, а в те годы он еще появлялся из воды. Иногда он был отмелью, а иногда островком, в зависимости от ветра. Однажды мы с моими ближайшими друзьями Борькой Сагаловским и Сашкой Поповым решили к этому островку сплавать. Думаю, километр туда и обратно, по реке с течением. Жуть! До сих пор помню выражение папиного лица, когда мы вернулись. Кажется, он все же меня не отлупил. А надо было бы...

Лиелупе текла величественно, несуетливо, степенно. В полукилометре от нашего дома она делала огромную излучину и, как бы отталкиваясь от берега, сужалась и уходила к морю. Это место называлось «Луга». Для меня там был настоящий затерянный мир Конан Дойля. Луга прорезали каналы, в которых, по слухам, водились желтопузые лещи, килограммовые голавли и даже загадочная рыба вимба. Над осокой летали большие стрекозы-коромысла, кружились бабочки павлиноглазки, порхали шоколадницы и адмиралы, а однажды я встретил там настоящего махаона! До сих пор не знаю, не наваждение ли это было, не мираж ли. Махаон в Юрмале – это высший класс, это как белый тигр где-нибудь в Индии. В июне луга пахли свежим запахом аира, а многочисленные дорожки обрамлял ядовитый вех. От лугов можно было сразу попасть в лес. Сначала это был темный и неприятный ельник, в котором водились ведьмы. Но всякая нечисть отступала перед соблазном собрать среди елок польские белые. В августе они росли там в изобилии, и если знать места, то можно было набрать приличную корзинку. А места я знал хорошо. Все кустики черники, все пригорки, ямки, старые окопы были нанесены в голове на невидимую карту и жили своей жизнью. Напротив ельника находился чахлый лесок, который мы привыкли называть Горелый лес. Когда-то здесь действительно был пожар, черника в подлеске выгорела, и ее место занял папоротник-орляк. Это было царство горькушек и маслят. За Горелым лесом дорога вилась через темные болотистые леса к рыбацкому поселку. Места эти я не любил, боялся медянок и гадюк, которых в те времена было там довольно много.

Рыбацкий поселок Узвара находился почти в устье Лиелупе. По-моему, он формально не относился к Юрмале и жил своей особой интригующей жизнью. Там все было другое: другие продукты в магазинах, другие овощи продавались на базарчике, другие стояли дома. В целом вся аура была иная, необычная. Недалеко от устья реки квартировал рыболовный флот. Рыбаки жили явно неплохо. В начале шестидесятых они предлагали дачникам разную рыбу, прежде всего, свежего балтийского лосося. Однажды мы купили только что выловленного монстра на тринадцать килограмм. В нем было около трех кило красной икры. Мама все это засолила, и я помню вкус белого хлеба, желтого масла и малосольной красной рыбы. Никогда ничего подобного больше не приходилось пробовать, ну, может, разок в Норвегии. Но времена менялись, вместо тушек лосося стали носить его головы и хвосты, затем лосось вымер окончательно. Некоторое время оставались еще вимба и лещ, а потом и вовсе все заглохло. Копчушка же была всегда! Копчушка – это золотистая балтийская салака горячего копчения, то есть мелкая копченая балтийская сельдь. Мы брали ее килограммами. Добавляли кефир, творог, черный хлеб – гости были в восторге. Да и я тоже.

От нашей дачи к морю вели две дороги. Сначала надо было по улице Стирну дойти до центральной улицы Викингу. На развилке, с левой стороны, около поворота на улицу Удру, располагался желтый двухэтажный казенный дом, где велись какие-то гидрометеорологические измерения. В этом заведении работала Мария Львовна, мама моего школьного

товарища Семы Левина. Какие пироги с черникой она пекла! Вспоминая их вкус, вид, а главное, исходящий от них уют, я думаю, что если бы мне дали сейчас возможность нарисовать знамя мира, я поместил бы туда черничные пироги Марии Львовны. Ну, может быть, добавил еще малосольный юрмальский огурец и кусочек сала. Вообще, и мы, и все гости были помешаны на сборе черники. Это был важный атрибут полноценного отдыха. Черника росла в изобилии. Мы собирали ее литрами, а потом ели с творогом и сметаной, посыпая сахаром и запивая молоком. Но только Мария Львовна начинала черникой незабываемые пироги.

Напротив желтого дома находилась «Воронья слободка». Это был двухэтажный деревянный дом с множеством комнат. Бог весть, кто был там хозяином, да и неважно. Важно то, что мы селили туда всех приезжих гостей. Сколько их приедет, столько и поселим. Разгадку этого топологического феномена я не знаю до сих пор. Ну, как впихнуть невпихуемое в автобус – все мы более или менее представляем. Но как поместить всех страждущих в одно деревянное строение? Эту задачу поистине библейского масштаба мои родители с успехом решали каждый год.

Следом за «Вороньей слободкой», вдоль по Викингу, располагался настоящий латышский дом. Никогда в России, ни в каких селах-деревнях, я не видел ничего подобного. Все в нем было ухожено, уложено, продумано. Приземистый, одноэтажный, белого кирпича с кирпичным красным рисунком по фасаду, он олицетворял трудолюбие, основательность и самодостаточность. Весь садовый участок был вылизан – травинка к травинке. Хризантемы, герберы, огромные георгины росли по-солдатски упорядоченно. И даже ландшафтная альпийская горка была вписана в антураж с миллиметровой точностью. Словом, с точки зрения внешней культуры для всех гостей это был Запад. В сущности, так оно и было. Меня несколько смущала злая собака на цепи у входа. Пес был явно дурной и недобро косил глазом, как только кто-нибудь приближался к калитке. Возможно, в чем-то он был прав.

Далее дорога к морю входила в лес и раздваивалась. Левая дорога вела на Семнадцатую линию, к цивилизации. Выходы к морю между Лиелупе и следующей станцией Булдури назывались линиями и нумеровались по порядку, от первой до тридцатой. Почему линии – не знаю. Вот в Ленинграде все это пошло от Петра. А в Юрмале, очевидно, от того времени, когда это побережье было немецким курортом. В общем, нумерация как нумерация, не слишком поэтично, зато удобно.

В районе Семнадцатой линии упирался в море бульвар Падомью, то есть «Советский», а вместе с ним недалеко от берега кучковались магазины, кафе, телефоны-автоматы и прочие курортные радости. Но народу всегда было много, да и дюны были низкими, а сосны жидкими. Короче, были свои плюсы и минусы у Семнадцатой линии.

Правая же дорога вела к маяку, к Двадцать четвертой линии. Чем больше номер линии, тем глуше и тише был пляж. Тише и гостеприимнее. Петляя по лесу минут пятнадцать, дорога приводила к забору около бульвара Булдуру. Кругом росла черника вместе с багульником, а к осени – желтые моховики и лисички. Вдоль забора всегда вылезали маслята. Они были редкого вида, без юбочки, крепкие, с капельками клейкого сока под шляпкой. Я знал их поименно и потому предпочитал этот путь любому другому. Выбор линии каждый день был предметом глубоких раздумий, а иногда и нешуточных баталий.

Сразу за бульваром Булдуру, перед подъемом к высокой дюне и далее к маяку и пляжу, находились спортивная площадка военного санатория и дачи больших военных начальников. Площадка площадкой, но что действительно важно – там, под навесом, стояли хорошие столы для настольного тенниса, предмет моей юношеской спортивной страсти. Странное дело, какие-то эпизоды намертво впиваются в память. Не понимаю, почему именно они. Стечение обстоятельств, расположение светил, шалость нейронов? Не знаю! Но помню, как однажды мой теннисный соперник накатил слева, я ответил глубокой подрезкой, он еще раз накатил с подкруткой, я снова подрезал, тогда он сам подрезал, и тут я как лупанул слева по диагонали!.. До сих пор помню его лицо. Такое чувство, будто эти пять секунд детского тенниса отделились от реальности и уплыли по волнам эфира в загадочные гипербореи. Но как только я вспоминаю Юрмалу, они немедленно возникают в сознании, нетленные и неподвластные времени.

Обычно мы располагались на пляже на Двадцать четвертой линии, в дюнах, справа от маяка. Весь огромный Рижский залив представляет собой цепь дуг-фестонов, на концах которых установлены маяки. Юрмальская дуга расположена между Болдераей и Рагациемсом. Это километров двадцать пять мельчайшего песка, дюн, сосен. По краям, и в Болдерае, и в Рагациемсе, стояли и сейчас стоят маяки. Иногда, к вечеру, они работали, и создавалось полное впечатление двух переговаривающихся человекоподобных башен. Но загадочный маяк на Двадцать четвертой линии молчал всегда. Зачем его там поставили, когда... В то время этого не знал никто. Может быть, это была советская военная тайна. А быть может, его установили зеленые человечки с марсианских холмов?..

Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о самой нашей даче, и место действия будет очерчено, можно приступать к рассказу о юрмальских математических буднях.

Так вот, дача. Она была типичным представителем юрмальского деревянного зодчества. Этот стиль возник примерно в двадцатых-тридцатых годах, а может и раньше. Наш дом был, конечно, помоложе, но все-таки к тому времени, как мы в нем поселились, он уже немало повидал на своем веку.

Основой юрмальских дач была непременно веранда. На ней обычно стоял диван, где можно было, расслабляясь, лежать и слушать шум деревьев или читать, лениво наблюдая, как неброское латвийское солнце проникает в дом и постепенно согревает пространство. В воздухе витал запах дерева с легким привкусом пыли. Посередине стоял стол. Здесь завтракали, разговаривали, ждали гостей. На всех известных мне верандах, где обитали латышские еврейские семьи, играли в преферанс или кункен, иногда в кинга. Мы были евреями белорусскими, поэтому больше играли в шахматы. Хотя детьми тоже любили расписать пулю с одноклассниками под бутерброды с яйцом и килькой.

Веранды украшал цветной декор. Первое, что приходит на память – синие, фиолетовые, красные прозрачные ромбики, обрамляющие стекла. Для меня они были вариантом домашнего оберега, символизирующим лето и летнее настроение.

Двор был небольшим. Вместо забора росли какие-то кусты, которые к концу августа покрывались белыми плотными ягодами. Сожмешь такую ягоду двумя пальцами – раздается сухой щелчок, и она выстреливает соком. Я их ненавидел. Если появились ягоды – значит,

прощай лето, пора в город, в школу, в круговерть городской жизни. Я думал: вот спилить бы эти кусты, и настанет вечное лето. Правда, рядом во дворе росла карина, и если ее ягоды темнели – что ни делай, все равно лето кончилось.

Напротив нашей дачи стоял похожий на нее, но значительно более солидный деревянный дом, проходивший под кодовым названием «Дом мебельщиков». По-видимому, он и в самом деле принадлежал мебельной фабрике, но жили в нем люди самые разнообразные. Одну из комнат занимала знаменитая Эльза Радзиня, она же легендарная Гонерилья из «Короля Лира», Гертруда из «Слуг дьявола» и Долли де Фриз из мюзикловского «Театра». Иногда она выглядывала из окошка, оценивая перспективы пляжного отдыха, и затем величаво шествовала к Лиелупе искупаться. Ее красивое фактурное лицо всегда оставалось бесстрастным.

Меня же гораздо больше Эльзы интересовал добрейший дядя Митя Малинский и его два сына, Алик и Лева. Алик был спортивным гением. Он был старше нас и снисходительно смотрел, как мы гоняли в футбол на площадке между домами. Я был большой, меня ставили на ворота. Воротами служила секция забора «дома мебельщиков» со встроенной в нее кроватной панцирной сеткой. Мы били пенальти, то пыром, то подъемом, Алик безучастно посматривал на наши потуги. Но однажды что-то в нем взыграло и он подошел к мячу.

– Я покажу вам, что такое «сухой лист», – сказал Алик.

Отойдя от мяча на пару шагов, он по-балетному выгнул правую ногу подъемом вверх, оттянул вниз носок, а потом ка-а-ак вмазал!... Мяч впился в железную сетку, забор срезонировал, но выдержал. Это был акт телепортации мяча от ноги прямо в ворота. Я потерял дар речи. Если бы в этот момент Алик сказал, что он бразилец по имени Пеле, я бы принял все за чистую монету. Но он просто отошел, оставив за собой вмятину в заборе и след в истории.

Лева Малинский в футбол не играл. Он стал чемпионом СССР по КВН и известным израильским журналистом Львом Авенайсом. Для тех, кто не в курсе: «авенес» по-латышски – малина.

Замыкал наш двор маленький приземистый домик за большим забором. В нем многие годы жили «пингины». Это была пара тихих, пожилых, небольшого роста людей, которые птичьей походкой, втянув головы, проходили к себе за калитку – и все, как не было их никогда. На следующий день мимо колонки они шелестели к магазину, потом возвращались, потом уходили, потом снова возвращались. Как пингины в Антарктиде. Вот мы их так и прозвали. А на самом деле «пингвин» был большим партийным кинематографическим начальником на пенсии. Кем была «пингиниха», осталось тайной.

Лето в Юрмале начиналось три раза. Первое лето приходило в начале июня, когда мы грузили весь городской скарб на грузовик и переезжали на дачу. В ход шли грабли, прелые зимние листья со всего двора сгребались в большие кучи и поджигались. Особый запах этих тлеющих листьев возвещал о приходе лета гораздо лучше, чем скворцы о приходе весны. Но в общем начало июня все-таки было прелюдией перед настоящим погружением в дачную жизнь.

Второе лето начиналось в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое июня. Это были дни Лиго или Лиго Яна, латышского варианта Иванова дня.

Лиго, языческий праздник солнцестояния, всегда имел легкую антисоветскую окраску. Во-первых, он был неофициальным, а во-вторых, его все праздновали, наутро не работал никто. Советская власть смотрела на все это сквозь пальцы и, я думаю, держала ситуацию под контролем, слегка выпуская пар. В-третьих, атрибутика Лиго была своеобразной. В ходу были всякие Перконкрусты и Угунскрусты. Перконскруст – это восьмиконечный крест Перкунса, то есть Перуна, или Громовой крест. Все бы ничего, но за этим символом стояла длинная история национализма, помноженная на антисемитизм фашистского толка. Все знали, что расстрельные команды во время войны были укомплектованы перконкрустовцами. Что касается Угунскруста, Огненного креста, то это просто латышская свастика, и ее использовать побаивались. Зато весь языческий антураж Лиго Яна был на потоке. Плели дубовые венки, рвали аир, делали украшения из трав, танцевали, прыгали через огонь, а главное – пили пиво до полного одурения, закусывая все это тминным сыром. По традиции требовалось еще идти ночью смешанными компаниями искать в лесу цветков папоротника. Этот древний сексуальный обряд в то время как-то проходил мимо моего сознания. С увлечением жгли старую мебель, вся Юрмала полыхала, и я еще помню то время, когда в устье Лиелупе на шестах устанавливали просмоленные бочки. После пива и поиска неведомого цветка те, кто еще мог стоять, горланили «Лии-го-Лии-го» или «Лиго Яна – баба пьяна», водили хороводы вокруг шеста до рассвета и периодически хватали за юбки все, что ближе лежало. Русские быстро поняли, как отсекают от праздника национальную идею, разбавляли пиво водкой и имели желаемый накал. Для приезжих все это было стопроцентной аттракцией, для нас – знаковой датой начала лета.

Но самым главным Днем Начала Лета было пятое июля. К этому времени, как правило, съезжались основные гости. Логика заезда была простая: заканчивались занятия в университетах, преподаватели разбежались по отпускам. Всем хотелось поймать как можно больше солнца, теплой воды и курортной атмосферы. Поэтому июль-август были основными месяцами на Взморье. А выбор пятого в качестве начала лета был связан с тем, что наша Юлька родилась в этот день. Отличный повод собраться, выставить во двор огромные столы, нарезать салатов-бутербродов и выпить за все хорошее. Все были возбуждены из-за смены обстановки, встречи после годичного перерыва, да и просто в ожидании летних радостей. Компания была отличная, довольно шумная и позитивная. Лето начиналось по настоящему.

Первыми прилетали свердловчане, старинные друзья родителей, Михаил Иосифович и Виола Викторовна Эйдиновы – дядя Миша и тетя Виола, она же Елка – и Павел Абрамович Фрейдман и Елена Борисовна Бланкова – дядя Паша и тетя Лена. Как же я был рад их приезду! Как будто менялась длина световой волны, и вместе с ней весь спектр света становился теплее и душевнее. Миша и Паша были алгебраистами, учениками и ближайшими друзьями моего папы. Кандидатская диссертация дяди Миши называлась «Бесконечные группы с пи-рядом». «Спи рядом» – это тетя Виола, профессор, филолог, специалист по литературе двадцатых-тридцатых годов. Обэриуты, Казакевич, Каверин, Тынянов, Платонов были основным полем ее профессиональных исследований. Конечно, мне было очень интересно ее слушать. Именно благодаря Виоле Викторовне Двинск-Даугавпилс всплыл на

горизонте, как одна из непревзойденных культурных столиц. Павел Абрамович Фрейдман занимался теорией колец, а его жена тетя Лена Бланкова – физикой твердого тела. Все они знали меня всю жизнь, со времен голопопых фотографий и детской диспепсии. С их приезда начинались разговоры, воспоминания, мелькали имена и сюжеты прошлой и нынешней свердловской жизни. Невозможно описать атмосферу этих посиделок. Ее надо было разливать по бутылкам и пить маленькими глоточками.

За свердловчанами приезжали минчане Бруднеры. Леонид Исаакович Бруднер был врачом от Бога. По ходу дела он эффективно лечил и меня, и папу одной и той же мантрой: «Ниже головы у вас все в порядке». Действовало безотказно. Его жена, Ребекка Львовна – тетя Рива, она же Ивочка, мамина школьная подруга – начинала «жужжать» с первой минуты общения. Это был такой позитивный гуд, который после некоторого привыкания становился легким и приятным. К математике они не имели никакого отношения и представляли, так сказать, бэк-вокал математического общества.

Параллельно приезжал харьковский клан во главе с Самуилом Давидовичем Берманом. Не знаю, почему, но мне профессор Берман внешне напоминал Соломона Михоэлса. Скорее всего, потому что я никогда не видел Михоэлса на экране, за исключением того одиозного кадра из «Цирка», когда он поет колыбельную: «Спят медведи и слоны, дяди спят и тети»... Многострадальную песню то вырезали, то вклеивали обратно, в этой гебэшной чехарде я запомнил его лицо нечетко. Кто бы мог подумать, что позднее мы познакомимся и подружимся с Натальей Соломоновной (Талой) и Ниной Соломоновной – дочерьми Михоэлса, приедем с Ниной в Юрмалу, будем бродить по пляжу...

Так вот, Берман приезжал с членами семьи, со своей ученицей Наташей Вишняковой и ее дочкой, иногда еще с целым кагалом, и мы на некое время переполнялись свежими харьковскими новостями. Самуил Давидович был абсолютно неординарной и очень харизматичной личностью. Фактически он создал две научных школы по теории представлений – ужгородскую и харьковскую. Он был фронтовик, он был авторитет. При этом на него все время стучали. Не знаю, было ли это «счастьем» Бермана или особенностью харьковской жизни. Сначала кто-то донес, что Берман читает «Архипелаг ГУЛАГ». Его вызывали, исключали из партии, требовали написать что-нибудь антиссионистское. Не тут-то было. Самуил Давидович обладал очень цельным характером. Где сядешь, там и слезешь. Похоже, это чувствовали даже бойцы невидимого фронта. Во всяком случае, трясли его постоянно, хотя по-настоящему не трогали. Даже когда он подписал несколько диссидентских писем.

Однажды Берман приехал достаточно мрачным. История с ним приключилась такая. Собралась компания смотреть футбольный или хоккейный матч. В этой компании был кто-то из его родственников, по-моему, дочь. Вдруг один из зрителей сказал «наши выигрывают». А может, «наши проигрывают». Не суть. Суть состояла в том, что дочка отреагировала немедленно: «Где ты тут видишь наших?» Очень скоро Бермана вызвали, долго мурыжили и в конце концов предложили написать покаянное письмо. Рассказать, как он осуждает неверную политическую ориентацию своей дочери в целом и конкретное высказывание в частности. Самуил Давидович ответил: «Я уже вышел из возраста Павлика Морозова».

Как только количество приезжих математиков достигало критической массы, начинались семинары. В плохую погоду семинарили на веранде, писали мелом на здоровом куске

линолеума, стирали тряпками, полоскали их под дождем, благо в Латвии дождь всегда под рукой. Иногда семинары проходили прямо у моря, на пляже. Доской служил небольшой столик полуметровой высоты с раскоряченными ногами. Надо было найти две подходящие сосны среди дюн и заклинить столик между ними. Прекрасно помню, как Калужнин рисует на нем одно сплетение за другим, а потом лихо стирает их с доски своими мокрыми плавками. Наслушавшись математики, все дружно шли купаться, потом одни бегали вдоль воды, другие предавались блаженному ничегонеделанью.

Однажды, вернувшись на летние каникулы в Юрмалу, я застал у нас на даче Владимира Андреевича Успенского. Я уже видел его за год до этого, мы познакомились, но разговоров особых не случилось. А тут он мне улыбнулся, как родному, и узнав, что я вернулся из Ленинграда после сессии на матмехе, спросил:

– Женя, хотите задачу?

– Нет, – честно сказал я.

– По логике, Женя, по логике.

Это был удар ниже пояса. Значительно ниже. Логику у нас в Универсе читал, а вернее мучил, Святослав Сергеевич Лавров, учебником был «Мендельсон» – тоже не боевик. Словом, ненавидел я ее тихо, но страстно.

– Нет, точно нет, – сказал я.

Владимир Андреевич был заведующим кафедры логики МГУ, учеником Колмогорова, замечательным ученым. Он оценил мою шутку и сказал:

– Короче, задача такая...

Лицо у Успенского вдруг стало серьезным. Похоже, не увернуться, и, похоже, буду я выглядеть идиотом. Ну, не в первый раз...

– Как вы считаете, коммунизм возможен? Это настоящая задача по логике, и вот вам подсказка: воспользуйтесь формальным определением коммунистического общества.

Ничего умнее, чем «сидит баба на печи, у ней в попе клизма, бродит призрак по Европе, призрак коммунизма», мне в голову не приходило. Но Успенский явно имел в виду что-то другое.

– Думайте, Женя, думайте, – сказал Владимир Андреевич.

– Я есть хочу, – сказал я. – Можно я сначала поем?

– Конечно, – Успенский не отступал, – конечно, поешьте, это как раз связано с решением задачи.

Нет, не соскочить, не выйдет. Вот ведь... Вспомнился старый анекдот. Человек идет по лесу. Над ним пролетает воздушный шар с людьми. «Где мы?» – кричат оттуда. «На воздушном шаре», – отвечает человек. Вопрос: кто он по профессии? Конечно, логик – его ответ абсолютно верный и совершенно бесполезный.

– Не знаю, – честно сказал я. – Если задача по логике, то не знаю.

– Ну, как же, – сказал Успенский, – это просто. Формальное определение коммунизма: это общество, где от каждого по способностям, каждому по потребностям. Эта аксиома задает теорию. Как вам должно быть хорошо известно, теория непротиворечива, если она имеет хоть одну модель. Есть модель у этой теории, как вы считаете, Женя?

Я тупо смотрел в одну точку. Что он имеет в виду?

– Конечно, есть, – продолжал Успенский. – Одна модель точно есть, это кладбище, – сказал он на полном серьезе и сразу, без перехода, залился смехом. И повторил:

– Одна точно есть. А раз так, по известной вам теореме коммунизм возможен.

Я был в легком обалдении. «А ведь он прав», – подумал я. И, кажется, впервые логика как наука стала мне нравиться.

Однажды, где-то в шестидесятых, я встретил у нас на даче довольно высокого, очень худого человека в белом парусиновом костюме. Его сопровождала чрезвычайно интересная женщина с гордым и благородным лицом. Это были Петр Сергеевич Новиков и Ирина Борисовна Чачиани. Был сильный ветер с реки, и Петр Сергеевич слегка покачивался в такт ветру. Я боялся, что при особенно сильном порыве его может унести, как девочку Элли в «Волшебнике Изумрудного города».

Они жили в рыбацком поселке и иногда догуливали до нас. Папа и Петр Сергеевич очень много говорили о неизвестной мне тогда проблеме Бернсайда. Петр Сергеевич волновался, говорил, что хотя результат получен и статья в печати, у него нет полной уверенности в том, что нигде нет прокола. Никто ее толком не вычитывал.

– Вы знаете, Петр Сергеевич, – сказал папа, – есть у меня очень талантливый молодой студент, Илья Рипс, он прочтет – и вы сможете быть абсолютно спокойным.

Так и вышло, до некоторой степени. В шестьдесят девятом Илья Рипс поджег себя, протестуя против оккупации Чехословакии. Его спасли и, как водится, посадили в психушку на Красной Двине. Илья вспоминает, что к нему относились гуманно, психи-соседи были не из буйных, он мог изучать любую математическую литературу. Там он и прочел первые сто страниц работы Новикова-Адяна, а потом, как он сам выражается, сошел с дистанции. Непростое было дело. Позднее, в Израиле, Илья Рипс нашел другое – геометрическое – решение проблемы Бернсайда.

Но математика математикой, а кушать хочется всегда. В рыбацком поселке, где жил Новиков, находился ресторан «Лайва» – лодка по-латышски. Здание ресторана было сделано на основе поставленных вертикально четырех рыбацких баркасов. Внутри висели сети, якоря, стояли какие-то лампы. Мы часто туда наведывались. Вкусно там было – не то слово! Гвоздем программы была редкая в ту пору копченая курица. Но и шашлык, и рыба, и антураж, и настроение – все было на высоте. Для меня же особый цимес состоял в том, что все было немного непривычно. Начиная от дизайна и кончая едой. Для гостей все было непривычно вдвойне – и тем притягательнее.

Неотъемлемой частью юрмальского отдыха были прогулки вдоль моря. Ходить было принято днем для здоровья, вечером – для души. Нигде и никогда я не встречал пляжа, сравнимого с летним юрмальским по красоте и гармонии. Осенью – другое дело, осенью там

аккумулируется грусть-тоска уходящего лета. Но летом это была особая зона положительной энергии, зажата между морским горизонтом и линией высоких сосен. От устья реки до Лиелупе шел дикий пляж, от Лиелупе до Дубулты – центральный, с кафе, с волейбольными площадками, с силуэтом ресторана «Юрас Перле», с ностальгическим зданием Курортной поликлиники. От Яундубулты до Кемери была провинция. Здесь все было тихо-спокойно, без особой суеты и ощущения праздника жизни. Сплошные пасторальные тона. И, наконец, от Кемери до Рагациемса была terra incognita. Уже и не Юрмала, собственно: Лапмежциемс, Бигаунциемс, всякие другие «циемсы», то есть поселки. Леса здесь были переполнены окопами Первой мировой, дюны уходили от берега, песок был не таким белым и сахаристым, как в центре, сквозь него местами пробивалась голубая, режущая кожу трава.

Однажды мы с Колей Вавиловым прошли, я думаю, километров семнадцать-двадцать – от Лиелупе до самых юрмальских окраин и обратно. Я уже закончил университет и трудился на ниве мелиорации. И параллельно писал диссертацию по группам Шевалле под Колиным неформальным руководством. Разница в возрасте у нас была мизерная, мы подружились. Фактически Коля был первым в Союзе, кто стал последовательно рассматривать группы Шевалле над кольцами, и новые знания его буквально переполняли. Ту прогулку вдоль моря я отчетливо помню. Шлось легко, с моря дул бриз, солнце было настоящим балтийским, слегка унылым, слегка малахольным, немного ласковым – в общем, в самый раз для ходьбы. Мы без конца говорили о математике, периодически переключаясь на лингвистику, искусство, литературу, философию – и обратно соскальзывали к математике. Это было классно. Много из того, о чем мы тогда говорили, сейчас уже реализовано. Но не все!

До и после этой прогулки было много сотен других – вечерних, вдоль моря на закате. Закат два раза одинаковым не бывает, он как река – всегда другой. Солнце зависало на западе, над маяком, и очень медленно, как и положено в средних широтах, скатывалось в море. Отдыхающие неторопливо дефилировали вдоль пляжа. Народу бывало, как на хорошей демонстрации. Отдельные моржи лезли в прохладную воду, кое-кто катался на велосипедах, но большинство наматывало километры, наслаждаясь вечерним моционом и хорошим разговором. В этой толпе можно было встретить кого угодно. Один раз папа заметил, как навстречу идет Долорес Ибаррури в окружении нескольких «отдыхающих». Он подошел, поздоровался с Пассионарией. Потом спросил у молодого человека, знает ли он, кто гуляет рядом с ним. В ответ молодой человек попросил документы... В Лиелупе кучковались известные военные. Можно было увидеть то Буденного, то Баграмяна. Последний прославился тем, что после выступления Председателя Верховного Совета Латвийской ССР на латышском выступил с докладом на армянском. Много позже аналогичный случай произошел во ВНИИводполимере в Елгаве, где я работал – мы получили техзадание из Ивано-Франковска на незалежной мове. Недолго думая, отправили им ответ на латышском. Хорошо поговорили...

В Дзинтари, в Майори у моря гуляли обитатели всех подряд Домов: Композитора, Литератора и просто Творчества. Поэтому на берегу можно было встретить Аркадия Райкина или Элину Быстрицкую, а то и какого-нибудь одиозного начальника. Калужнин ко всему этому относился скептически.

– Женя, – говорил он, – это типично русское. В Париже, если Помпиду пройдет по улице, его никто не заметит. Вот если Бриджит Бардо, то совсем другое дело...

Я ему говорил, что Райкин и есть наша Бриджит Бардо. Но он не соглашался.

Очень часто летом в Юрмалу приезжал из Москвы Леонид Ефимович Садовский. Он привозил с собой московский блеск и московскую мишуру. В те годы ритм настоящей юрмальской жизни можно было почувствовать на улице Йомас в Майори. Это был центр всех центров, жизнь там бурлила, сама улица лилась рекой, приезжие и туземцы гуляли и слонялись по Йомас в едином порыве. Плотность знакомых зашкаливала за все мыслимые пределы. Львиную долю приезжих составляли москвичи. Их можно было вычислить в толпе со сто-процентной вероятностью. У них была другая одежда, другие цацки на шее, другое выражение лица, а главное – столичная аура окружала москвичей блестящим скафандром.

Леонид Ефимович заведовал кафедрой в МИИТе, занимался структурными автоморфизмами абстрактных групп. Папа привлек его к изучению локально-нильпотентных групп, они много и хорошо работали. Садовский меня совершенно поражал принадлежностью к какому-то другому миру. Постепенно в летнюю юрмальскую жизнь стали проникать искорки того пламени, в котором этот параллельный мир кувырчался. Однажды в семьдесят шестом к нам на дачу завернула новенькая «Вольво». Оттуда появился невысокий человек, в котором я, ленинградский студент, без труда узнал лауреата Нобелевской премии Леонида Витальевича Канторовича. Его внешность была вариацией уже хорошо знакомого мне подвита талантливого русского еврея. Михоэлс и Берман, Леонид Витальевич Канторович и папин учитель Петр Григорьевич Канторович издали были практически неотличимы. Хоть папа и Канторович были хорошо знакомы, мне кажется, что это Садовский дал Канторовичу наш адрес.

Быстро поели на веранде, и мои родители с Канторовичами поехали далеко за Юрмалу, в район «Осиновки», по-латышски – Апшүциемса. С ними был мой двенадцатилетний брат Толик. За рулем сидела жена Леонида Витальевича, все было прекрасно. Но где-то в Апшүциемсе Толик захлопнул приоткрытую дверь «Вольво» с недетской силой. Боковое стекло издало тонкий писк и рухнуло на землю. На земле остались лежать дребезги, как сказали бы в Одессе. Все были в шоке. Вот так, легким движением руки покалечить лауреатскую машину – это надо было уметь. Но Толик сумел. Все очень возбудились. «Вольво» в те годы в Риге вживую не видел никто. Ни один сервис чинить ее не брался, но толпы любознательных механиков собирались всюду. В результате машину без стекла пригнали к нам на дачу, прислонили к кустам, чтобы не было видно отсутствующего окна, и продолжили отдых. По-моему, в конце концов все-таки поставили заглушку, и через несколько дней Канторовичи отбыли.

Мы все очень переживали. Но, как оказалось, еще больше переживали в Швеции. Это было пятно позора, которое Толик поставил на славном имени «Вольво». Поэтому два комплекта новых стекол доставили из Стокгольма. К ним прилагались извинения от фирмы и, по-видимому, благодарность моему брату. Леонид Витальевич позвонил и сказал, что поездка получилась незабываемой.

Следующий визит Канторовичей прошел буднично. Разве что именно в это время сообщили из военкомата, что папе полагается орден Красной Звезды за бои сорок четвертого года. Папа сказал, что у него есть уже один и что это, очевидно, какая-то ошибка. Нет, ответили ему, это другой... После боя сорок четвертого года прошло к тому времени почти сорок лет. Где он лежал все это время? Орден вручили уже после отъезда Канторовича, но повод выпить был стопроцентный.

В один из своих визитов Садовский появился у нас на даче с Ириной Родниной и президентом теннисной федерации Латвии. Градус нарастал экспоненциально. Олимпийская чемпионка оказалась большеглазой симпатичной девушкой, ненамного старше меня. Ничего особенно звездного я не заметил.

Мне очень нравились рассказы Леонида Ефимовича о свежих новостях московской математической жизни в целом и о его кафедре в частности. У него работала Елена Сергеевна Вентцель, чей учебник по теории вероятности составил целую эпоху. Не сразу, но довольно быстро я осознал, что профессор Е. С. Вентцель и писательница И. Грекова, то есть «Игрекова» – одно и то же лицо. Ее имя было связано прежде всего с гениальной повестью «На испытаниях». Действие там происходит на полигоне, скорее всего это Капустин Яр, в низовьях Волги. Никогда бы не подумал, что в девяносто третьем приеду ловить рыбу из Израиля на Ахтубу и буду наблюдать, как над этим самым Кап-Яром будут подвешивать воздушные мишени. Интересно, что один из главных героев повести, Теткин, работал у папы на кафедре в Рижском ракетном училище. Ну а с другим, генералом Сиверсом, связана такая история. Под именем Сиверса в повести фигурирует муж Е. С. Вентцель, генерал Д. А. Вентцель, известный ученый в области баллистики. Подполковник Николай Федорович Трубицын рассказывал, что сын Вентцелей, доцент МГУ А. Д. Вентцель был очень остроумным человеком. Однажды сидели за одной партой на вечернем отделении в МГУ три друга: Н. Трубицын, П. Хмара и В. Гастелло (сын «тарана») и слушали статистику в исполнении А. Д. Вентцеля. И Гастелло вдруг говорит Трубицыну:

– Слушай, Коля, что это такое – сначала учили теорию вероятностей у мамы, потом баллистику у папы, а теперь статистику у сына?

А. Д. услышал это, подошел и строго сказал:

– Если будете так заниматься, то еще у внуков будете учиться!

Я упомянул подполковника Трубицына. Мне хочется сказать о нем еще несколько слов, не относящихся напрямую к Юрмале. Это был удивительный человек: умный, тонкий, интеллигентный. Он закончил последовательно Суворовское училище, академию Дзержинского и мехмат МГУ. В восемьдесят шестом году вдруг выяснилось, что евреев можно брать на работу. Ходил такой анекдот. Встречаются два кадровика. «Иван Иванович, – говорит один, – вы евреев на работу берете?» «Такие времена настали, Сергей Сергеевич, берем». «А где, Иван Иванович, вы их берете?..» Короче, меня приняли ассистентом на кафедру математики Рижского Военного ракетного училища. Трубицын сразу взял меня под свое крыло. Однажды он подходит ко мне с непроницаемым лицом и говорит:

– Такое дело, Женя, требуют с нас методичку. Тема сложная – дифференциальные уравнения. Придется воспользоваться методом Рекле, – и произносит эту фамилию с ударением на последнем слоге. – Вы, конечно, знаете метод Рекле?

Я стою и тупо смотрю на Трубицына. Что сказать? Никакого «метода Рекле» я знать не знал, но сознаваться не хотелось. С другой стороны, честность – лучшая политика, может, лучше признаться в своем невежестве.

– Да нет, Николай Федорович, не знаю я такого метода, к сожалению, не слышал, – проблеял я без энтузиазма.

Трубицын был чрезвычайно доволен.

– И правильно, – сказал он, – правильно, что не знаете. «Метод Рекле» – это метод «ре-кле»: «РЕзать и КЛЕить».

Однажды он заглянул ко мне на экзамен.

– Ну как, – спрашивает, – как идет?

– Да так, – ответил я неопределенно, – кто-то что-то, что-то как-то...

Тут Трубицын взял листок бумаги, ручку и нарисовал три концентрических круга.

– Студент должен знать материал на отлично, – сказал он. – Но только если он хочет тройку, то он должен знать на отлично вот столько, – Трубицын ткнул в самый маленький круг, – на четверку вот столько, – и он указал на средний круг, – ну а уж на пятерку надо все знать, – и он обвел жирным самый большой из кругов.

Если же курсант шел на двойку, то Николай Федорович начинал давать задачи из дореволюционной «Арифметики» Магницкого. Полторы селедки стоят полторы копейки, сколько стоят три селедки. Или мужик выпивает бочку кваса за три дня, а баба с мужиком – за полдня. За сколько времени выпьет всю бочку одна баба?

В одном из разговоров зашла речь о политике. Мнение о советской власти у него было вполне определенное. Высказывал он его нечасто, но на этот раз Трубицын называл имена вождей, не стесняясь эпитетов. И завершил все своей любимой универсальной сентенцией:

– Чтобы выправить, надо перегнуть!

Имел ли он в виду что-то конкретное или просто закон природы в его социальной форме – уж и не знаю. Но фразу вспоминаю часто.

Однако из всего услышанного наибольшее впечатление на меня произвело соотношение неопределенностей, принадлежащее не Гейзенбергу, а другу Трубицына, подполковнику Павлу Хмаре, который долгие годы заведовал «Клубом 12 стульев» в «Литературке».

– Женя, запомните, – говорил Николай Федорович, цитируя Хмару, – произведение содержания на форму всегда есть величина постоянная.

Как он был прав! Куда там Гейзенбергу...

Но вернемся к приездам в Юрмалу Леонида Ефимовича Садовского. Помимо всего прочего, с ними в нашу юрмальскую жизнь прочно входил большой теннис. Юрмала была

переполнена хорошими грунтовыми кортами. Нигде в Союзе даже близко не было ничего подобного. Венцом всего стала постройка в Лиелупе великолепного теннисного стадиона. Это был класс, это был шик, это был Запад. Садовский играл вполне прилично. Просто здорово играл, учитывая свой не юношеский возраст. В основном играл пару, но иногда и хорошую одиночку. Прекрасно играли и его дети, Оля и Леша. Мы подружились. Я тогда только начинал играть в большой теннис и смотрел на игру, затаив дыхание.

Надо было видеть, как Садовский выходил на корт. Белые шорты, белая тенниска с каким-нибудь крокодилчиком на груди, белые с кантиком адидасовские носки, теннисные кроссовки, напульсник на правой руке, иногда специальная налобная лента, фирменная первая ракетка, хорошая запасная ракетка, отличные, упругие мячи. Совсем нескромное обаяние элитарного спорта сопровождало его появление на корте так же, как верный пес сопровождает охотника. Я балдел. Весь наш юрмальский квазиматематический синклит ходил смотреть, как играют Садовские. И тоже балдел от удовольствия. Леонид Ефимович знал всех в мире тенниса. Всех латвийских начальников, всех московских игроков, всю сборную. Был знаком с Анной Дмитриевой, с Александром Метревели, с тренером сборной СССР Шамилем Тарпищевым, который чуть позднее подсадил на теннис Бориса Ельцина. Все они, включая Ельцина, львиную долю летнего времени проводили в Юрмале.

Одной из кульминаций теннисных баталий был матч кубка Дэвиса Швеция – СССР семьдесят пятого года. За шведов играл сам Бьорн Борг, пробиться на стадион было очень трудно, но, благодаря Садовскому, мы прорвались. Бьорн кидал немыслимые топ-спины, мяч взлетал в воздух, а потом буквально рушился на землю. Судья на линии был русским и после каждого топ-спина громко кричал:

– Попал, попал!

В какой-то момент Борг не выдержал и спросил:

– What is *popal*?

Стадион смотрел за игрой, как единый организм, с придыханием. На мой взгляд, зрители делились на две категории: москвичи и не москвичи. Москвичи болели за наших. Латыши тоже болели за своих. Вдруг папа заметил на трибуне Целиковскую. Они были немного знакомы. Папа бывал у нее дома в пятидесятых, запомнилось, как она сказала: «У меня все в порядке, нас опекает Микоян». Лишь недавно я узнал, что Микоян и известный архитектор Алабян, муж Целиковской, были одноклассниками по армянской тифлисской гимназии и чуть ли не кровными братьями. Микоян спас Алабяна от Берии, спрятал в Армении. Когда после Алабяна Целиковская вышла замуж за Юрия Любимова, протекция Микояна распространилась по транзитивности и на театр на Таганке.

Так или иначе, актриса сидела вместе с Юрием Любимовым на трибуне недалеко от нас. В перерыве папа подошел к Целиковской поприветствовать ее и спросил:

– Людмила Васильевна, вам что-нибудь надо? Что-нибудь принести?

Она ответила:

– Принесите, пожалуйста, мороженое, если не трудно.

День и в самом деле был жарким. Папа ходил за мороженым, отдал его Целиковской и, когда поднял голову, заметил на себе колющий и неприятный взгляд Любимова. В том же семьдесят пятом году Целиковская и Любимов расстались.

Леонид Ефимович вместе с сыном Лешей Садовским написал небольшую замечательную книгу «Математика и спорт». По-моему, она до сих пор не имеет аналогов ни в математике, ни в спорте. Я совершенно уверен, что юрмальские приезды стимулировали ее написание.

Однажды, придя на дачу, я застал на веранде худощавого, крайне симпатичного человека, с бородкой, шевелюрой торчком, в сандалиях на босу ногу. Мне показалось, что он немного прихипповывает. Мужчина говорил по-русски с легким незнакомым акцентом. Это был профессор Мартин Давидович Гриндлингер, известный специалист по комбинаторной теории групп. Сейчас, когда лемма его имени у меня на первое-второе-третье и на закуску, ужасно жалко, что тогда, в начале семидесятых, я понятия не имел о его математике. Мартин Давидович отличался абсолютно независимым складом суждений. Он был учеником Магнуса в Нью-Йорке, но какой-то черт или чертик толкнул его приехать в пятьдесят седьмом году на Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Москву. Там он встретил Елену Ивановну, и все. В пятьдесят девятом на свет появился Леонард Мартинович, а в шестьдесят первом Марти Гриндлингер стал советским гражданином Мартином Давидовичем Гриндлингером. Фактически, наряду с Линдоном и Шуппом, он создал современную теорию групп с малыми сокращениями. Но тогда я всего этого не знал. Он приехал в Юрмалу из Тулы вместе с Еленой Ивановной. По-моему, с ними было счетное множество детей, минимум четыре или пять. Они хотели отдохнуть на море, а денег было совсем мало, и как все это совместить, было неясно. В итоге профессор устроился плавруком в пионерлагере, и ему в целом эта работа понравилась.

Рига и Юрмала могли произвести впечатление, разница с Тулой, Иваново, другими городами, где он работал, была большая. В некий момент Гриндлингеру пришла в голову мысль получить ставку в главном латвийском храме знаний, в Латвийском университете. Он встретился с кем-то из университетского начальства и сказал, что его интересует должность профессора. Начальство почесало репу и стало ему объяснять, что у профессора большая зарплата и что выгоднее нанять на эти деньги трех ассистентов. Мартин Давидович посмотрел в окно и сказал: «Чего там, экономить так экономить – наймите лучше пять дворников». В девяностых папа и Гриндлингер встретились уже в Филадельфии, на папином докладе. Мартин Давидович вернулся в Америку и снова стал Марти Гриндлингером.

Каждое лето в санаторий «Белоруссия» в Булдури приезжал академик Дмитрий Алексеевич Супруненко с женой Региной Иосифовной Тышкевич и дочерью Ирой. Долгие годы этот санаторий был белорусским оазисом на латвийской земле. Может, он и сейчас оазис, не знаю. Несколько раз в сезон вся юрмальская компания обязательно приходила туда на ярмарки, концерты или просто посидеть на скамейках, выйти к морю, выпить кофе с ватрушками в кафе напротив, поговорить. Много разговаривали о Минске, об Институте математики на Сурганова, одиннадцать, о Белоруссии вообще. Все-таки белорусские корни ощущимо присутствовали в нашей жизни, хотя вроде бы уже мало что с ними связывало. Тогда я об этом не задумывался, а сейчас очень даже. Математическая жизнь в Минске была

далека от белой и пушистой. Но среди кортов и пляжей Юрмалы ее острота сглаживалась. Мы много гуляли, тепло, почти по-семейному, общались с Региной Иосифовной и Ирой.

Дмитрий Алексеевич был патриархом и всегда выглядел очень основательно, как и положено мэтру. Фронтовик, он, по-моему, был чуть ли не первым белорусом, ставшим доктором наук по алгебре. Говорил Дмитрий Алексеевич так же, как одевался – просто, интеллигентно, доброту. С детства помню разговоры между ним и папой про бесконечные разрешимые и нильпотентные группы, а вернее, бесконечные разговоры про нильпотентные и разрешимые группы. Мама всегда говорила, что моими первыми словами были не «мама» и «папа», а «локально нильпотентный радикал». Так что эти диковинные термины звучали почти как музыка. Когда я подрос, мантра «нильпотентная группа» неожиданно обрела смысл. Мантры они такие, с ними именно так и бывает.

К концу восьмидесятых санаторий «Белоруссия» стал своеобразной машиной времени. Что-то в его атмосфере витало хрущевско-брежневское. Может, дело было в порядке, может в одежде или просто в выражении лиц отдыхающих. Как ни странно, небольшие дозы этой эманации не раздражали, а вызывали улыбку и даже бодрили.

О коллизиях математической жизни соседней с Белоруссией Украины рассказывали Андрей Владимирович Ройтер и его жена Людмила Александровна Назарова, не пропускавшие ни одного летнего сезона. Андрей Ройтер был человек очень яркий, говорил всегда интересно, эмоционально, не снисходя до полутонов. Вообще, оба Ройтера были ужасно заводными. Они постоянно либо конфликтовали с кем-то, либо кто-то разбирался с ними. Люся Назарова защитила докторскую диссертацию и стала первым доктором-алгебраистом среди женщин. В разговоре с Ройтерами постоянно мелькали имена Габриэля, Демазюра, представления алгебр, графы, колчаны – вперемежку с обсуждением погоды и достоинств клубники, купленной на базаре в Меллужи. Их дочь вышла замуж за парня из Латвии, и у Ройтеров появился еще один магнит для приезда. Я искренне этому радовался.

К слову, если уж быть точным, первой женщиной, написавшей докторскую по алгебре, была любимая мной тетя Алиса – папина ученица Алиса Самойловна Пекелис. Но бандитский ВАК семьдесят четвертого года зарубил ее диссертацию, а тетя Алиса не стала марать руки. Все знали, что она сделала докторскую работу, и все знали, кто и за что ее топил. Такое было время, гнусное...

Новосибирские новости привозили Борис Абрамович и Берта Исааковна Трахтенброты. В шестидесятых-семидесятых годах они бывали не так часто. От Риги Академгородок был далеко, но, видимо, из-за близости папы с Мальцевым, а также еще из-за уральских связей с Каргаполовым отношения были очень тесными и очень хорошими. Все изменилось после Чехословакии. Начиная с семидесятых, мракобесие в Новосибирске было, наверное, самым передовым мракобесием в стране, и все почувствовали на себе его отголоски.

С Борисом Абрамовичем всегда было очень тепло.

– Ну, Женя, как дела, Женя? Что скажешь хорошего? Как дела у отца? Что он сейчас пишет? – спрашивал Борис Абрамович, несмотря на то, что разговаривал с папой за пятнадцать минут до этого.

Но, как говорится, «это их не влияло». Мама и Берта Исааковна очень уютно судачили о чем-то своем.

– Берта, – командирским голосом говорил Борис Абрамович, – пошли домой.

Но это тоже «их не влияло», и разговоры «за жизнь», «за политику» и около математики продолжались и продолжались. Мелькали имена Мальцева, Тарского, Тайцлина, Ершова и других логиков. Потом все сменялось Киссинджером, «Пионерской зорькой – Би-Би-Си» и другими реалиями жизни. У Бориса Абрамовича были в Риге выдающиеся ученики – Янис Барздинь и Русиньш Фрейвалдс. Я думаю, уже одним этим Трахтенброт сделал для развития математики в Латвии так много, что его должны были выбрать Иностраннным членом Латвийской Академии наук. Но не выбрали.

В начале двухтысячных я вез из Иерусалима мою тещу, Инну Яковлевну, и жену Барздиня. Обе женщины только что посетили Стену Плача и, как положено, оставили в ней записки с какими-то своими пожеланиями. Никто из них не сомневался в адресате. Но по дороге в Тель-Авив латвийская гостья задумалась и спросила, кому она, собственно, писала. Сначала я не понял вопроса, а потом до меня дошло. Судя по всему, она была или католичка, или лютеранка – думаю, почти наверняка лютеранка. Инна Яковлевна же была активисткой, гражданкой СССР с довеском из двух еврейских родителей – в общем, кем угодно, но точно не христианкой. А писали обе дамы одному, так сказать, лицу. Они стали беседовать и выяснять, дойдет ли записка по назначению. Ближе к Тель-Авиву все-таки пришли к консенсусу.

– Там, наверху, разберутся, – подытожила госпожа Барздиня, – там поймут.

Я поинтересовался, на каком языке были написаны послания. Теща, ясное дело, писала по-русски. А Барздиня серьезно сказала, что писала на двух языках, на латышском и английском.

– Надо было на иврите писать, – сказал я, чем, видимо, расстроил гостью. – Не волнуйтесь, есть специальная служба, переведут, – пошутил я.

Как ни странно, никого это не удивило. Видимо, магическая сила Иерусалима еще владела умами в полной мере, а следовательно мера разума была близка к нулю.

На рубеже нового тысячелетия у родителей и Трахтенбротов возникла традиция летать в Юрмалу из Израиля. Они выбрали небольшой психо-неврологический диспансер между Дзинтари и Булдури, недалеко от моря. Летом он превращался в нечто вроде санатория: психически неуравновешенные граждане отправлялись по домам, им на смену приезжали из разных стран бывшие советские люди. Довольно быстро сложилась дружная компания.

Борис Абрамович был ее душой. Как только они с Бертой спускались вниз, к народу, возникала атмосфера размеренной суеты. Утром, устроившись на скамеечках, все начинали обсуждать программу текущих удовольствий. Разговор шел по кругу: чем кормят, какая погода, пойдём ли на пляж, в магазин, на базар и что нового в Израиле. Рассуждать о политике, находясь на отдыхе, было легко и приятно. Но иногда возникали и серьезные околонаучные темы. К папе и Борису Абрамовичу присоединялся папин друг, бывший

свердловчанин Игорь Гейман, и эта троица могла легко провести несколько часов за разговорами. К ним неожиданно прибилась молодая, необыкновенно красивая девушка Нарина Бочарова. Было ей лет двадцать с небольшим. Так сложилась судьба, что ее везде преследовала война. Она жила в Грозном, потом переехала в Абхазию, наконец осела в Крыму... Хорошо помню, как она сидит и хлопает глазами, а трое профессоров объясняют ей нечто вроде логики Геделя. Я думал, что все это – парадоксы Юрмалы, а оказалось, что начало серьезной дружбы.

Позднее вся компания сменила неврологический диспансер в Дзинтари на реабилитационный ортопедический центр в Яундубулты, но атмосфера и стиль отдыха остались прежними.

Меня всегда поражала доброжелательность Бориса Абрамовича. Он говорил вполне корректно даже о тех, кто этого совсем не заслуживал. Кроме того, он сумел найти доверительный язык со своими латышскими учениками – совсем непростое дело и говорит о многом. Иногда кто-нибудь из них заезжал в санаторий и увозил Берту Исааковну и Бориса Абрамовича – поговорить, покататься. Ясно, что они очень ценили своего учителя и как математика, и как человека.

В Юрмале я иногда сидел вместе с Борисом Абрамовичем в ожидании родителей, и темы разговора уплывали в разные дали. Это было совершенно замечательно. Было много юмора, еще больше еврейской мудрости и очень ясной, живой речи. Мне казалось всегда, что у Бориса Абрамовича была не только характерная интонация, но и неуловимый акцент. Я спросил его однажды об этом. Он засмеялся и сказал – это все Румыния-Молдавия, с детства. В другой раз я рассказывал ему о ленинградских математических реалиях, о нашем курсе логики, о ЛОМИ и лекциях Шанина.

Жалко, память не сохранила деталей разговоров, но тон, но интонации, но чувство – все так же зримо, все как вчера. Как будто они живут своей жизнью, а время обтекает их, не касаясь, лишь слегка сглаживая углы.

Периодически отдыхающие в Юрмале математики собирались все вместе. Как правило, критическая масса профессоров на квадратный метр латвийской земли достигалась на наших дачных шашлыках. Шашлыки готовил я, а научил меня этой науке Гамлет. Гамлета действительно зовут Гамлет, а точнее Гамлет Микаэлян. Мне очень повезло: он несколько лет провел в Риге в качестве папиного аспиранта, и я, да и мы все обрели близкого друга на всю жизнь. Главным в организации хорошего шашлыка является любовь к тем, кто будет его есть. Затем идет мясо, потом дрова для костра, потом сама геометрия костра – и, наконец, выбор вин и тем для разговора.

Мясо всегда было настоящее латвийское, свиное. Кошрут тогда проверялся исключительно по количеству жировой прослойки между слоями мяса, поэтому все было исключительным по качеству и количеству – достойных полкило на человека. Гамлет объяснил мне, как готовить бастурму, то есть пряное, насыщенное травами и специями мясо для шашлыка. Секретов было несколько. Во-первых, куски должны быть крупными, чуть ли не с кулак величиной. Тогда при правильных углях мясо на поверхности схватывается и покрывается

хрустящей корочкой, а внутри оно прожаривается, оставаясь мягким и сочным. Вторая премудрость состояла в том, чем дубить это мясо. Никакого уксуса, только петрушка, сельдерей, кинза, соль, перец. Все это нарезалось в солидных количествах, а потом – внимание! – надо было соединить воедино мясо и всю массу зелени. Для этого бралась большая емкость, лучше таз, и длинными, синхронными движениями обеих рук зелень вдавливалась в мясо по многу раз. Пальцы дробили верхние волокна свинины, и сок травы смешивался с соком мяса. Этот процесс эпического масштаба мне нравился больше всего. Что-то в нем было настоящее, несколько первобытное, немного сексуальное. То, что получалось, помещалось в большую емкость и послойно прокладывалось репчатым луком. Оставалось подобрать подходящий булыжник и поставить всю эту красоту под гнет на несколько часов. Можно было дополнительно бухнуть внутрь полбутылки сухого вина – для настоящих эстетов. Я не видел в этом особого смысла, разве что в качестве еще одного ритуала на ниве летнего эпикурейства.

Мангал был каменно-земляной. Во дворе дачи я расчистил плоский прямоугольный участок и лопатой снял с него дерн сантиметров на двадцать-тридцать в глубину. Дерн сохранялся в сторонке, а образовавшаяся плоская яма обкладывалась со всех сторон кирпичами, поставленными на попа. Если мяса было много, то добавлялся еще слой кирпичей. Мангал был готов.

Дрова для костра всегда были проблемой. В Армении хороший шашлык делают на виноградной лозе, объяснил мне Гамлет. Лоза горит долго, дает мало огня и много ровного жара. А сосновые доски быстро прогорают, остается не уголь, а пепел. Я усвоил эту науку и за неимением лозы готовил шашлык в основном на березе.

Народу на этих посиделках всегда было много. Обсуждали все подряд. Политику, погоду, перспективы развлечений. И, конечно же, все интересовались, будет ли ежегодная совместная поездка. Это был гвоздь летней программы. Папа договаривался об автобусе. Как правило, удавалось достать большой «Икарус», человек минимум на тридцать. За сезон бывали одна-две поездки. Иногда однодневные, но чаще на два или три дня. Маршрут, программа, логистика экскурсий всегда были на мне. Родители оповещали о поездке всех, кого могли, полный автобус собирался очень быстро. Ездили по Латвии, Литве, Эстонии, в Калининград, в Пушгоры, в Псков-Изборск. Было очень душевно.

Я сейчас думаю, насколько все-таки реалии тех дней отличались от нынешних. Бытовые удобства играли явно второстепенную роль. Атмосферу удовольствия создавало само коллективное движение, меняющиеся пейзажи и новые впечатления. Некий налет авантюристичности всего мероприятия делал его еще более привлекательным. Компания была крайне демократическая. Все – от академиков и профессоров до моих одноклассников – были в одной упряжке.

В одной из таких поездок я познакомился с Сергеем Ивановичем Адяном. Мы ехали, по моему, в Каунас и Вильнюс. Красота была исключительная. Музей Чюрлениса, Тракай, костел Анны, башня Гедиминаса – интересно было все. Мне было лет тринадцать или четырнадцать. До сих пор чувствую во рту привкус воды озера Галес, на котором стоит Тракайский

замок. До сих пор помню впечатление от впервые увиденного декора католических церквей в стиле рококо или от рассказов о караимской охране литовских князей. Всем было хорошо. Лишь Сергей Иванович был постоянно чем-то неудовлетворен. Он все время объяснял, что сделано не так, почему не так и как именно надо было сделать. Поскольку я уже тогда фактически определял маршрут, Адяню уделял особое внимание моим «не так». Не туда пошли, не туда пришли, не в то время, не в той одежде, не сказали, забыли и, главное, не послушали его мнение. Делал он это совершенно беззлобно, но бесконечно. В автобусе было человек пять моих друзей и сверстников. Сергей Иванович очень интересовался нашим моральным обликом и вникал в мельчайшие детали мальчишеского быта. Характер у него был специфический.

Помню, ночью в общежитии, лежа на матах, молодежь перемывала косточки Адяню. Всех поражала не его манера впиваться, как клещ, во всякие мелочи, а то, что он совмещал это с явным вниманием к Свете Бойко, папиной ученице. Как можно цепляться к малолетним бармаглотам, когда рядом сидит такая красотка? Это было уму непостижимо.

Очаровательная Света была дочерью родительских друзей, Николая Григорьевича и Ольги Филипповны Бойко. Полковник Бойко был незаурядным человеком, обладавшим тонким чувством юмора. Однажды, спустившись к почтовому ящику, я обнаружил в нем книгу «Партийные группы на современном этапе». Обомлев, я открыл ее и обнаружил надпись «Профессору Плоткину, известному специалисту по теории групп». Это были проделки Николая Григорьевича на первое апреля. Жили Бойко на другом конце города, на улице Марупес, он не поленился проехать всю Ригу, чтобы бросить первоапрельский подарок к нам в ящик. До этого он однажды расклеил по своей улице объявление: «В связи с увеличением количества котов в нашем районе улица Марупес переименовывается в улицу МаруКот». Николай Григорьевич великолепно писал маслом. Один из его пейзажей до сих пор висит в родительском доме в Израиле.

Прошло немного времени после летней поездки, Света и Сергей Иванович поженились. Однажды в конце девяностых мы встретились с Адянем в Билефельде. Он пробежал мимо вместе с Йенсом Меннике, они много сотрудничали в это время. Увидев меня, Сергей Иванович явно обрадовался. Я тоже был очень рад встрече. Мы посидели, поговорили, повспоминали. Мне кажется, Меннике кое-что понимал по-русски и внимательно слушал. Я напомнил Адяню про юрмальскую поездку и про наши ощущения. Сергей Иванович, всегда напряженный, сразу потеплел, ему было явно приятно, он улыбался и рассказывал, что молодежь действительно была несносной. Время стирает возрастные грани, и я сказал, что он тоже был не подарок. В общем, здорово было вспоминать Юрмалу за чашкой кофе в Билефельде. Позднее мы много раз созванивались, не говоря уже о постоянном общении Сергея Ивановича с папой. У Фритца Груневальда, ученика Меннике и моего друга и соавтора, была идея организовать в Обервольфахе «реюнион» алгебраистов разных поколений. Не получилось.

В одной из поездок мы оказались в небольшом эстонском городке. Оставили автобус на центральной площади и отправились гулять мимо небольших прибалтийских домиков.

Шли по улицам, Калужнин, как всегда, все сравнивал с Германией, по-моему даже кусты напоминали ему образы молодости.

– Очень похоже, – говорил он, – только грязнее и скромнее.

Вдруг от одного из домов, прямо от входа, к нам кинулась женщина:

– Помогите, пожалуйста!

Все остановились.

– Что случилось? – спросил папа.

– Помогите, пожалуйста, – повторила женщина, – я не могу открыть дверь, заело замок.

В двери и впрямь торчал ключ. Общими усилиями нескольких профессоров математики замок все же открыли. Все чувствовали себя настоящими мужчинами. Лишь Владимир Андреевич Успенский задумчиво стоял в стороне. Когда мы немного отошли от дома, остановился и спросил:

– А откуда следует, что это ее дом?

В другой раз мы приехали в Вильнюс. Папа договорился с Йонасом Кубилиусом, ректором Вильнюсского университета, о том, что весь автобус пустят переночевать в университетское общежитие. С Кубилиусом они подружились в середине пятидесятых, когда оба примерно одновременно защищали докторские диссертации. Нам выделили все, что могли – несколько комнат с кроватями и спортивный зал. Дело было в восьмидесятых – роскошные условия по тем временам. Правда, кроватей на всех не хватало, только на узкий слой профессоров, профессорских жен и мелких детей. Остальные спали на полу между кроватями. Наша семилетняя дочка Юля хотела обязательно к нам, на пол. А ее, естественно, отправляли на кровать, где теплее и удобнее. Владимир Андреевич какое-то время наблюдал за этой душераздирающей сценой, потом тихонько отозвал мою жену Таню в сторону и сказал:

– Таня, послушайте, пожалуйста. Когда я был маленьким, родители пошли в кино, а меня оставили дома. Я очень хотел пойти с ними, но мне не разрешили. Прошло очень много лет, но я до сих пор это помню. Разрешите Юле спать на полу...

Юля сейчас живет в Калифорнии, у нее семья, двое детей. А я пишу эти заметки в Израиле, в одном из пригородов Тель-Авива с диковатым названием Гиват Шмуэль – «Шмуэлева Горка». Всех разбросало. Кто бы мог подумать тогда, в Юрмале, что подобное возможно. Все было так просто, а оказалось так сложно. Или это иллюзия – и простота, и сложность, а есть лишь розовые очки воспоминаний. И мелкая терка ностальгии. Остригивает мысли под подходящий диаметр дырочек, что-то пропускает, что-то нивелирует. Ностальгия. Она всегда рядом, как сурок. Она как кисло-сладкое мясо детства, что делала моя бабушка Циля. Я уже не помню, каким был его вкус, я лишь воображаю: кухня в Риге, на Югле, латка, в ней фырчит и булькает варево, серый свет из окна упирается в аромат мяса и чернослива, две

фигуры на кухне – бабушка и мама... Ничто не повторится, но ничто и не уходит. Древние греки пили желтое вино воспоминаний, чтобы уйти от болезненной остроты будней. Мы же, наоборот, воздвигаем бастионы из ежедневности. Иначе очень трудно. Ведь прошлое всегда моложе, а значит всегда лучше. Лучше-хуже, одномерная шкала сравнений... Все, конечно, не совсем так – или совсем не так. Восприятие зависит от настроения, от состояния, от характера и темперамента, от расположения светил, от фаз луны...

Возвращаясь мысленно в далекую Юрмалу, я подбираю в ее образе то, что осталось неизменным. Иногда мне кажется, что эти горьковатые зернышки воспоминаний можно собрать в кулек и, поклевывая их, ненадолго перенестись назад. И сразу бегом обратно, поскольку – «остановись, мгновенье, ты опасно!» Но все-таки мгновение – это очень много. За такое время можно и найти опору, и снова потерять ее, и упасть, и подняться, и уплыть, и вернуться.

Как, в сущности, по-человечески поддаваться искушению этих мыслей. Тьмы и тьмы людей чувствовали и переживали похожим образом. Никто не нов под луной, и ничто не ново. Но окраска ностальгических видений уникальна и неповторима.

Я рассказал о моей счастливой Юрмале. Большими были не только деревья, большими были люди. Но... Фокус состоит в том, что на прошлое мы смотрим снаружи, на настоящее – изнутри. Склонность к идеализации прошлого заложена в человечестве на генетическом уровне. Очень трудно быть объективным. Для меня родительский круг, их дружеские связи, их разговоры, их энергия общения, их харизма были бесконечно значимыми. Любое сопоставление прошлого и настоящего будет однобоким и несовершенным. Это относится как к профессионально-математическому уровню, так и к социально-бытовому. Когда одна половина ума понимает очевидную относительность всяких оценок и сравнений, вторая не соглашается и апеллирует к эмоциональной сфере. А это та область пространства, где логики не было, нет и не будет.

Очень жаль, что память несовершенна. Очень хочется вспомнить забытое, рассказать нерассказанное, прикоснуться к недостижимому. Очень много разных «очень» остались за бортом этих заметок. Надо еще посидеть с закрытыми глазами, напрячь память. Картины должны ожить. Так и будет...